1.

Если встанешь лицом к нашему общежитию, ты увидишь в его окнах много всякого. Головы, кальяны, коробки, иногда книги. Однажды я заметила в окне кота и вычислила комнату, откуда он. Даже не знаю зачем.

Зимним вечером общежитие кажется уютным. Как длинная свеча в темной бутылке, вареная картошка со сливочным маслом, дремота у бабушки в гостях. Скорее всего, ты идешь к общежитию от метро и твои губы уже колючие с кровью. Ты хочешь войти внутрь, но в самом конце пути московский ветер пытается тебя убить. Он всегда живет возле больших зданий вроде нашего и не помнит соседей, так что набрасывается на всех подряд. Не стой там долго.

Хотя задержись, тут может быть интересно. Рано или поздно из дверей выскочит пара, целуясь на ходу. Первокурсник потащит клетчатую сумку, которую передали с поездом из дома. У поста охранников притормозит толпа москвичей с временными пропусками: они будут пить с общежитскими дешевое вино и попытаются нелегально остаться на ночь. Когда-нибудь к твоим ногам упадет зачетка, перемазав грязью страницы, потому что кто-то неосторожно ловил в окне халяву. Я не знала

никаких студенческих примет, когда приехала сюда жить. Теперь знаю много, но они мне не нужны.

Потому что однажды я шла по общежитскому коридору тысячу лет, состарилась и умерла.

Не дай себя обмануть. Изнутри общежитие склеено сосущими пустотами. Когда искрятся окна семнадцати этажей обоих корпусов, знай, что общежитие на тебя охотится. Никогда не попадайся на приманку.

Я здесь одна неделю. В основном сижу в комнате, иногда выхожу бродить по коридорам. Бывает, беру с собой плед, чтобы лежать. Несколько раз я засыпала прямо на плиточном полу. Меня некому разбудить, а в коридорах нет отопления, так что я все время больна.

Однажды одногруппница спросила, что бы я завещала сделать с собой после смерти. Я сказала, что мне все равно: если ты больше не владеешь телом, то как ты почувствуешь, правильно ли с ним поступили? На самом деле я думала так: только не гроб. Потому что каждый общежитский коридор — это бесконечный тесный гроб, семнадцать слева и семнадцать справа, друг на друге, пыльные и жадные, всегда голодные. Я уже в одном из них, мои кости и мое мясо.

За всю неделю я ни разу не почувствовала свою родинку над губой. Когда я одна, родинка засыпает и сидит на коже спокойно. Наверное, я никогда не была одна больше пяти или шести часов подряд. А тут вспомнила о родинке только на седьмой день, потому что вспомнила о Вере.

Хотя о Вере я думала миллион раз в сутки.

Просто однажды Вера сказала мне, что хотела бы такую же родинку, она красивая и немного пошлая. Ну, в хорошем смысле, так сказала Вера. В моем углу было зеркало, и я подошла к нему, чтобы посмотреться.

Я говорю «мой угол», потому что в комнате нас живет пятеро, а мне повезло занять кровать за шкафом. Когда я смотрюсь в зеркало, шкаф закрашивает собой две трети фона, а в оставшемся кусочке я вижу пространство, которое принадлежит соседкам. Их быт яркий, мусорный, молодой, он сложен из куч одежды, грязных тарелок, бутылок, пакетов, плакатов и фотографий. Чужой быт побеждает мой, он выгоняет меня за дверь — даже сейчас, когда я одна в целой комнате. Я не люблю бардак, у меня все по ящичкам. Еще я не люблю украшать стены, мне нравится, когда пусто.

Но не так пусто, как в коридорах, там пустота гуляющая и жрущая. Первые пару недель в общежитии тебе весело и пьяно, но потом жизнь начинает сереть и истончаться. Из нее подсасывает пустота, она всегда голодная. Но не думай, что пустота высосет тебя сразу. Пустота экономна и расчетлива, ты ей будешь нужна все пять лет.

На людях моя родинка над губой выпирает, из всех частей тела я чувствую ее лучше всего. Не круглосуточно, но один или два раза в день точно. Иногда пять или шесть. Она ощущается как спичечная головка, которой чиркнули о коробок. Или как иголка с шариком — такой еще закалывают хиджабы, только мне она дырявит губу. Еще как жирный степной клещ. А бывает, просто чешется.

В шесть лет я прыгала под виноградом, пытаясь схватить его за усы. На крыльцо вышла бабушка и крикнула, чтобы я подошла к ней. Бабушка была в хорошем настроении и вдруг, погладив по голове, назвала меня Монро. Я не знала, кто такая Монро, и попросила показать ее мне. Бабушке не хотелось, но я так расканючилась, что она согласилась поискать.

Мы сели в самой прохладной комнате с книжным шкафом, в котором я обожала копаться: там были фотоальбомы, старые открытки, календари. Придерживая одной ладонью бумажную стопку, бабушка вытащила коробку из-под конфет — ее я и раньше видела, там лежали портреты знаменитостей. Тетка твоя баловалась раньше, сказала бабушка, все журналы мне искромсала. Где-то внутри была Монро, и в конце концов бабушка выложила ее мне на колени.

Я тогда была черноволосой девочкой, а Монро — тетей с белой прической. И еще мне не понравилось, как она скалилась. Я сказала бабушке, что ничего не поняла. Да вот же, ответила бабушка и нажала на монровскую родинку. Я возразила, что у нее родинка на щеке, а у меня над губой. Дурочка ты, сказала бабушка. В комнату зашел дедушка, посмотрел мельком на Монро и произнес: проститутка.

В ту ночь родинка впервые запульсировала и потянула в себя кровь. Потом начала жечься. Жжение расползлось по подбородку и щекам, а к середине ночи покрыло и глаза. Мне удалось поспать совсем чуть-чуть, и уже при солнечном свете. Утром я намылила губы, взяла дедушкину бритву и стала водить ей по лицу. В начале этой истории я сказала, что родинка выпирает,

но это не совсем так: я чувствую ее выпирающей, а на самом деле она плоская. Так что я исцарапала себе щеки, верхнюю губу и подбородок, а родинка осталась на месте.

Позднее моя попытка отщепиться от родинки стала семейной байкой. Представляете, Настя однажды побрилась. Ей было шесть лет, а она взяла бритву — и чиркчирк! Потом всю неделю ходила с зеленой бородой. Наверное, подсмотрела за своим любимым дедушкой. Она все делала как дедушка. А уж как, бывало, ругнется!

Больше, чем меня, эта история раздражала только Бэллу. Она была любимицей всех, первым ребенком, номер один в списке из одной себя, ее всюду брали с собой, показывали там и тут, знакомым и малознакомым, ставили на стул и постоянно фотографировали на пленку. И только дедушка не поддавался, он любил меня. Но Бэлле был необходим полный набор, ей надо было приклеить к себе каждого.

Никто не видит, что мои глаза карие. И что ключицы образуют кожаные ванночки. И мою кудряшку, которая всегда торчит из пробора у самого лба. Все смотрят в родинку над губой.

Папа однажды сказал, что с ней я как леди. Девочка из параллели обвиняла, что я рисую ее себе глазной подводкой. Бабушка по-прежнему называет меня Монро, когда я делаю что-нибудь веселое или смешное. Только мама ничего не придумывает, она понимает.

Я ненавижу свою родинку. В ней слишком много всего такого, что со мной не сочетается. Мне намекают, что

я должна быть кокетливой. Игривой. Что я обязана стать еще большей женщиной, чем другие женщины. Но смотри, Настя, не будь развратной. У тебя и так вид такой... ну, ты знаешь, Настя. А я все сделала наоборот.

Сильнее всего родинка прожгла кожу в тот день, когда у меня случились первые месячные. Пока я смотрела на ткань с коричневыми мазками, родинка задергала так сильно, что я сунула между ног туалетную бумагу и пошла к холодильнику. Подержала на губах замороженное что-то, и вроде прошло. Любая боль в родинке — жгущая, колющая, ноющая — рассасывается быстро. Просто она как будильник.

Иногда, чтобы стало полегче, я всасываю родинку вместе с губой. Но губы мои большие и спелые, они похожи на помидор «бычье сердце». И если затолкать их в рот, лицо теряет много мяса, становится голым. Это выглядит нелепо, так что на людях стараюсь так не делать.

На вкус моя родинка соленая или никакая.

Родинка напоминает мне и о хорошем. О тутовнике, ежевике, сливе и терне. О том, как на нашем юге можно объесться, просто гуляя по улицам. Моя родина жаркая, влажная, съедобная. Ее сок течет по подбородку и склеивает пальцы, ее травы хлещут лодыжки и колют пятки, проникают в кожу, уши, под ногти. Кусты переплетаются и дергают друг друга за ветки девять месяцев в году. Моя родина не замерзает и редко покрывается снегом, он задерживается только на горных макушках зимой. Их видно с любой улицы нашего поселка.

Я бы хотела, чтобы и родинка была съедобной. Чтобы она не только колола меня, но и питала. Чтобы я заталкивала в рот губы и вдруг становилась сытой. Тогда мне не пришлось бы все время экономить и худеть.

Иногда я мечтаю, чтобы все на свете было полезным, каждый предмет.

В общежитии мне или совсем не хочется есть, или хочется съесть сразу все, что найдется. Я ем без удовольствия, через силу или, наоборот, чтобы заполнить чем-нибудь внутреннюю воронку. Когда моя маленькая пустотка оказалась здесь, она быстро спелась с огромной общежитской пустотой. Они все время переговариваются. И когда моя пустотка набирается сил, я запихиваю в себя что угодно, только чтобы она замолчала.

Если я закрою глаза и представлю еду, то мои любимые печеная картошка, свиной шашлык, балкарские хычины, аджапсандали и разнообразные овощи будут стоять где угодно, дома на столе, в холодильнике или на ресторанной клеенке, но только не в общежитии. Еда здесь не еда.

Есть ситуации, в которых родинка точно не почувствуется. Например, в стоматологическом кресле, когда врач с ассистентом видят из всей меня только зуб, кладут мне на грудь инструменты и вертят моей же головой как хотят. Еще, конечно, в гинекологическом кабинете, особенно если внутри меня находится что-то, во что доктору надо всмотреться. И в любой другой ситуации, когда моему телу оставляют какую-то одну функцию.

И поэтому, когда я занимаюсь сексом, моя родинка тоже исчезает. Я делаю это часто и с разными партнерами. Но совсем не из-за родинки. И не из-за нее имена парней в моей голове никак не прилепляются к их же лицам и все время перетасовываются. Не поэтому мне плевать на то, чем эти парни интересуются, где работают и на кого учатся. Парни-инструменты, плиточки и кирпичики, которые я укладываю слоями, чтобы вскарабкаться и встать сверху.

Вообще-то, во всем виновата Вера.

Я никогда не стараюсь во время секса. Быть красивой или страстной, запомниться. Я не хочу специально радовать кого-то сексом, я и сама не рада — просто секс и секс, то, что я делаю, потому что делаю.

Моя сестра Бэлла давно сказала мне, еще тринадцатилетней, что секс — это как летние каникулы: ты ждешь от них приключений, любви и радости, а потом все лето топчешься в курином говне во дворе у бабушки. Наверное, это была единственная умная мысль, которую высказала Бэлла за всю нашу сестринскую жизнь, мы тогда даже не поругались.

И все равно, забираясь в кровать к парню, я переживаю из-за своих складок, вылезающих во время секса. Телесных, тугих, наживотных и внутрибедренных. Перед тем как предложить секс, я сильно втягиваю пузо.

Ночи в Москве никогда не бывают черными. Первый месяц я думала, что наблюдаю проржавение неба — это такое астрономическое явление вроде северного сияния, только безрадостное. Оказалось, небо здесь всегда такое.

В октябре мы с Верой сидели на подоконнике и смотрели в коррозийную тьму, она предложила сделать парные татуировки. Маленькие, чтобы не спалиться перед родителями, но красивые и напоминающие нам друг о друге. Наши инициалы или ту завитушку с факультетской колонны, сказала Вера, а я промолчала, потому что это была одна из тех идей, про которые Вера тут же забудет, если ей не напоминать.

Но в конце засыпанного реагентами декабря, когда ледяной ветер расшатывал оконные рамы и загонял вглубь общежития подмерзающих тараканов, я жалела, что не пустила под кожу чернила. Потому что, когда в меня вдавилось новое тело — костлявое, чужое и холодное, — я думала, как бы отвлечься, как бы не думать о сексе, который со мной происходит.

Может быть, если бы на мне отпечатался маленький рисунок, я могла бы смотреть в него и оживлять его в голове, размышлять о Вере и нашей дружбе, о том, что будет, когда мы станем старше, обо всех наших планах.

Я здесь одна уже неделю. Иногда вижу охранников, но не заговариваю с ними. Это охранники сосущей пустоты, моей печали, моей тоски. Я смотрю на себя в зеркало.

Вижу кудряшку, ключицу, коричневую радужку. Обхожу взглядом родинку. Втягиваю в рот губы и распускаю их. Получается звук. Мне невыносимо смотреть на себя больше. Внутренняя пустотка снова тянется к огромной общежитской пустоте. Кажется, я одна здесь навсегда.

Наш факультет стоит в самом центре Москвы, прямо напротив Красной площади. Мама говорила об этом всем знакомым, которых встречала в августе. За месяц до моего отъезда мы стали всюду ходить вместе. Мама взяла отпуск, чтобы просто шататься по городу.

В честь поступления родители подарили мне телефон с хорошей камерой, и я фотографировала себя, маму, собак, голубей, гору, персики на нашем дереве, соседских уток, два раза я сняла папу, а также бабушку, дедушку, все четыре грецких ореха, которые росли у них во дворе, их котов, свой детский велосипед «Аист», нашу машину, школу, каскадную лестницу в парке.

Ты все равно не сможешь засунуть в телефон весь наш поселок и тем более город, смеялась мама, оставь и для Москвы немного памяти.

Бэлла уехала весной вместе со своим мужем и их ребенком внутри Бэллы. Они переселились на другой конец края и навещали нас раз в две-три недели. Думаю, Бэлла не особо скучала, просто собирала деньги у тоскующих по ней родных. После моего возвращения из Москвы в середине июля Бэлла уже не приезжала. Вроде как ей скоро рожать, а двухчасовые тряски в машине могут навредить. Но она даже не позвонила и не поздравила.

У нее гормоны, говорила мама, ты, пожалуйста, не расстраивайся.

Я не расстраивалась, хотя мама мне не верила, а я не могла объяснить ей причину. Из-за того, что Бэлла

затихла и как бы взяла от нас отпуск, а я доживала дома последние недели, мама стала полностью моей. Настолько моей, что про Бэллу мы даже не говорили. Весь август мама возвращала мне долг.

О моем поступлении ходили слухи. Никто не верил, что какая-то Настя будет теперь учиться в главном вузе страны. Наша семья небогатая, поэтому соседи, дальние знакомые, родительские коллеги изобретали про нас глупости. Например, что мы вообще-то богатые, просто скрываем это из жадности. Или что папа помог продать кого-то в рабство на кирпичный завод в Дагестане. Еще говорили, что декан факультета, скорее всего, учился с бабушкой в одном пединституте и они договорились по-свойски.

В августе мы с мамой часто заходили к бабушке и дедушке, чтобы похохотать над этими слухами. Не торопились, выбирали один слух на одно чаепитие и начинали, как говорила бабушка, обсасывать. Дедушка иногда выплевывал какую-нибудь грубость, но ему это прощалось. В те дни всем все прощалось, это были мои самые счастливые дни. Может быть, и не только мои, а общие. Я на это надеюсь.

Я чувствовала себя очень легкой и завершенной. Будто сбросила с тела все тяжести, что тащила за собой с рождения. Как если бы я носила десятиметровую косу и вдруг сделала каре. С самого детства мне говорили, что я умная и должна уехать из этой жопы. Что будущего здесь нет, одно доживание, даже если тебе всего восемнадцать. Но ты, Настя, точно вырвешься, говорили все.

Когда в августе мы с мамой шатались по городу, я думала, что мой успех видно. Мне казалось, все замечают

мое свечение. Может быть, успех проскакивает в походке. Или в глазах. Наверное, мое лицо теперь выглядит спокойным и красивым. В августе я призналась маме в своем совершенном счастье.

Все только начинается, доченька, сказала мама.

Успех слетел с меня луковой шелухой, когда я вошла в здание факультета в предпоследний день лета. Во время поступления я думала только о том, как выбраться из своего города, поэтому не видела ничего, кроме бланков, документов и листов.

Теперь я рассмотрела факультет, он был весь карамельный, завитушчатый и нарядный, через стеклянный купол внутрь лился солнечный сок. А за факультетскими окнами скалился Кремль, показывая свои ржавые зубы, и я снова вспомнила маму: вы знаете, а Настин факультет находится в самом центре Москвы! Кремль меня пугал, за весь первый месяц я так и не дошла до Красной площади и даже не спускалась в переход, ведущий к ней.

Когда я поднималась на балюстраду по мраморной лестнице, то специально посматривала под ноги. Я боялась, что могу оставить за собой грязные следы. Не то чтобы факультет отторгал меня, он, скорее, просто не замечал таких, как я. И мне не хотелось, чтобы кто-то наконец увидел меня только потому, что я пачкаю мрамор.

За два дня до начала занятий первокурсникам нужно было приехать на факультет за справками. Я прилепилась к очереди, которая обнимала половину балюстрады и тихо жужжала. Иногда вдруг кто-то начинал хохотать, чаще

это был женский смех, девушек вообще стояло больше. Это была взрослая очередь из подростковых тел — я подумала, что если бы она переместилась в школу, то там было бы шумно и весело, а в конце кто-нибудь подрался бы.

Я знала, что если начну оглядываться, то расстроюсь из-за своей одежды или прически. Поэтому я смотрела в пол и все равно заметила, что никто не пришел в туфлях на среднем каблуке, как я. Вокруг топтались кроссовки и кеды. Тогда я вытащила телефон, согнулась над ним и заморозилась. Я не хотела играть в «шарики», вдруг ктонибудь это увидит. Переписываться тоже не хотела: все мои буквы полетели бы домой, и от этой мысли становилось грустно. Поэтому я стала листать фотографии и зачем-то рассовывать их по папкам, которые создала только что.

Папка «Мама» заполнялась быстрее папок «Ба и Де», «Двор», «Собаки», «Коты», «Гора», «Природа», «Птицы» и «Дома». Мама вся состояла из углов и палочек, которые собирались в хрупкую конструкцию ее тела. Маму хотелось отнести домой и усадить в мягкое или поселить в террариуме, чтобы ничего ей не навредило. На совместной фотографии мы смотрелись чужими друг другу. Я крепкая и толстокожая, южная груша, выросшая в черноземе, а мама — бесплодное деревце с геленджикского утеса, которое обдувается морским ветром и никак не может набрать силу. Мама и правда выросла на море, а потом уехала в соседний край, где моря не было.

Полоска зарядки на экране начала пустеть. Я боялась остаться без телефона в Москве, поэтому мне пришлось сунуть его в карман юбки. В тот день на факультет пришли только первокурсники, и я сразу поняла, кто есть кто.

Московские стояли кучками, разговаривали и все время выходили курить. Общежитские торчали из пола поодиночке и смотрели в телефоны, как и я, никуда не выходили и не поднимали головы. К тому моменту очередь уже укоротилась, и я решила просто глядеть в дверь, куда нам всем было нужно.

Дверь открылась, и к ней шагнула девушка, у нее были длинные волосы, светло-карамельные, хрустящебагетные, они разлетелись от сквозняка. Во время подготовки к вступительным я приучилась выдумывать всякие метафоры, поэтому сказала у себя в голове, что ее волосы брызнули, как шампанское. Второе, что я заметила, — это ноги девушки, длинные и худые, кусочек кожи между укороченными джинсами и белыми кедами был коричневым от загара. Наверное, она отдыхала где-нибудь в Египте или даже в Италии. Я не бывала нигде, кроме своего края, Краснодарского края и теперь еще Москвы, а она совершенно точно бывала. Когда девушка закончила свои задверные дела и прошла мимо меня, я почувствовала ветерок, увязавшийся за ней, он пах цветочными деревьями. Я не стала оборачиваться, хотя очень хотелось.

Я вышла из здания факультета и, продолжая смотреть на нелепые туфли, купленные специально для Москвы, втиснула себя в метро. Тогда еще никто не пользовался приложением с картой, я заранее взяла у входа на станцию листовку, рекламирующую пиццерию, и ориентировалась по ее разноцветным линиям. В вагоне больше никто так не делал. Я вылезла из-под земли в нужном месте и пошла туда, где теперь жила, через панельковые и кирпичные дворы.

Мое общежитие было огромно-советское, из металла и стекла, два его корпуса, похожие на книги, соединялись внизу галереей-пуповиной. Я зашла внутрь, потом влезла в лифт вместе с девушкой в тапочках и приехала на восьмой этаж, в середину корпуса, где в середине этой середины была моя комната.

С переездом мне помогала мама. Рано утром мы вместе сели в поезд и повезли с собой южную жару. Плацкартный вагон быстро нагрелся и стал запекать внутри себя воздух, людей, их копченых кур, вареные яйца и сочащиеся маслом пирожки. Засыпая, я понадеялась, что, может быть, к ночи осталось еще немного родного воздуха, втянула в себя вагонное марево и сразу же провалилась в качающуюся черноту.

Когда я открыла глаза, снаружи тянулся серый день, а в окне рябили высокие среднерусские деревья. Проводница сообщила, что в Москве сегодня холодно и моросит. Пора доставать теплые вещички, добавила она. Перед тем как выйти на перрон, мы с мамой, по очереди прикрывая друг друга простыней, сменили шорты на джинсы, а майки — на свитера и ветровки.

Вещей было две большие сумки в клетку, одна коробка, походный рюкзак и чемодан. Мы взяли из дома даже электрический чайник, сковородку, мою любимую подушку и хрустальную вазочку для конфет. Сначала нам пришлось просить о помощи соседей по вагону, потом платить носильщику, добавлять денег таксисту и — в конце концов — ловить мальчиков из общежития, которых там пока было мало.

Два студента-старшекурсника согласились дотащить наши вещи до комнаты. Они рассказали маме, что уже работают и поэтому не приезжают домой на каникулы. На майских был у родителей, сказал один из них, и еще поеду на ноябрьских, а насчет Нового года пока не решил.

Консьержка привела меня, маму и мальчиков в большую четырехместную комнату, пока никем не заселенную. Одна кровать стояла напротив входной двери, зато была скрыта от остальных кроватей стеллажом, который доставал до самого потолка. Мы решили занять ее. Мальчики подтвердили, что это место — самое лучшее, отказались от маминых денег и еды, а потом ушли.

Хороший уголок, — сказала мама, — будешь тут сама себе хозяйка.

Весь день мы разбирали вещи и раскладывали их по полкам и ящикам. Потом сходили в магазин низких цен, мама купила там всякие мелочи вроде чеснокодавилки и большую картинку с африканским слоном, которую приклеила к стеллажу на двусторонний скотч. Вечером мы гадали на книжке, пили чай с конфетами из хрустальной вазочки и болтали. Потом еще доразбирали остатки вещей, а совсем ночью мама решила помыть унитаз и ванну. Элитное общежитие, сказала нам консьержка утром, тут в каждой комнате свой санузел, это же вам не второсортный вуз.

Маме полагалось спать в гостинице для родственников, но она осталась со мной. Кровать была старая, крепкая и достаточно широкая, а мама занимала очень мало места, так что мы улеглись рядом. Скоро воздух из

маминого носа стал выходить редко, шумно и медленно, а я все никак не могла уснуть.

В моей голове дрались мысли — хорошие с плохими. Я представляла, как еду за рулем красной машины мимо московских небоскребов, а потом видела наш двор и в нем — гроб с дедушкой, вокруг которого стояли все, кроме меня. Снова фантазировала, как всю ночь пропела в общежитии под гитару, утром немного проспала, но все равно, конечно, успела на работу в любимую редакцию, где с порога узнала о чем-то важном, и сразу села за статью. Но дальше в голову полезли картинки, как Бэлла и ее красивый ребенок сидят за столом в доме бабушки и дедушки, все хохочут и объедаются, вдруг кто-то спрашивает, а как там Настя, и мама отмахивается: мол, чего про нее говорить, жива — и ладно.

Я запаковывала плохие мысли в пузыри и выталкивала их из головы, а хорошие мысли растягивала на все черепное пространство. Наверное, так я начала засыпать, перед сном ко мне всегда приходили фантазии, как вдруг мама дернулась и перевернулась с бока на спину. Я почувствовала ее запах: кисловатый, медово-горчичный, такой, что невозможно записать в память. Из моих глаз стала вытекать вода, это были не горячие, жгущие слезы от сильной обиды, это были холодные ручьи, которые долго собирались и остывали, может быть, много месяцев — и наконец нашли выход.

Я жалела себя, маму, бабушку, дедушку, мою непрочную память, мое одинокое детство. Убеждала себя, что так надо и всем от этого будет лучше. Стыдила за то, что плачу, ведь я первая в семье и единственная в школе,

кому выпал такой шанс. Хватит реветь, хватит. Я приподняла голову над подушкой, вытянула шею, еще раз понюхала маму и после этого уснула. А утром мама положила в свою маленькую сумку пижаму, зубную щетку, пасту и дезодорант, почесала ресницы тушью и попросила ее не провожать.

Мам, останься еще на денек.

Но у меня билеты.

Их можно сдать.

Настенька, мне пора домой, я же и так на месяц выпала. Ясно.

Бэлла уже заждалась, ей скоро рожать, я сразу поеду к ней.

Ясно.

Не провожай, хорошо?

Перед уходом мама достала из своей сумки фотографию в рамочке и поставила ее на письменный стол. Обняла меня быстро и крепко, поцеловала в обе щеки и в лоб, потом вышла в коридор. Я слышала ее шаги и слышала лифт. Хотела записать на телефонный диктофон, но не успела.

После дня справок я вернулась с факультета первой — дверь была закрыта на ключ, значит, соседки еще где-то ходили. Я вошла, положила на кровать сумку, встала к зеркалу и представила, что из моей головы растут светлые волосы. Прошлась взглядом по лицу и остановилась на своих же зрачках, я смотрела в них так долго, что лицо замерцало и постепенно растворилось в рябой глади. Последним ушло черное пятно над губой.

Конец ознакомительного фрагмента. Приобрести книгу можно в интернет-магазине «Электронный универс» e-Univers.ru